

**О,**

как я понимала свою сестру! Матушке за девяносто, а она все не хочет снимать с себя полномочия главнокомандующего. Это он, главнокомандующий, определяет стратегию и тактику дальнейшего продвижения вперед, будучи уверенным, что только ему ведомы истинные пути решения возникающих на этом пути проблем. А чтобы не ошибиться, он просто обязан вникать во все детали и мелочи всего, что его окружает. И вот это, последнее, особенно достает.

— Ты что!.. Как хлеб режешь?!

— А что не так?

— Больно тонко. Крошек много, а укусить нечего.

Сестра озадаченно молчит, потом находитесь:

— Так я тебе толще нарежу.

— При чем здесь мне. Надо как положено...

— Кем положено-то? — начинает терять терпение сестра. — Режу, как хочу, не все ли равно?

В ответ — тяжелое молчание, смысл которого нетрудно понять: вот-вот, делаете, как хотите, а потом удивляетесь, почему у вас жизнь плохая. А только и надо то — слушать, что тебе говорят...

— А рамы ты зачем поменяла? Превжние разве плохие были?

— Сейчас все меняют дерево на пластик. Так лучше. Красивее.

— Эта красота денег стоит.

Фраза произнесена со значением. Мол, только и умеете, что деньги тратить. А вот чтобы тратить с умом... И сестра делает попытку оправдать свои действия:

— К тому же дома теплее станет.

— Станет ли?

И опять в доме повисает тяжелое молчание. По своей воле сестра нарушать его не будет — это чревато новыми осложнениями. Но такая предосторожность срабатывает не всегда: поводы для новых разногласий все равно находятся, и вот наступает момент, когда в моем доме раздается телефонный звонок: «Звони матушке, вразуми... сил моих больше нету...»

Я живу далеко от них, наезжаю нечасто — раза два в год. И каждый раз появляюсь в родном доме с намерением, насколько это возможно — выровнять их отношения, помочь друг друга понять и услышать. Чаще всего получается приехать весной или осенью.

Этот мой приезд был весенний. В поднебесном мире творилось обыкновенное чудо: с голубого неба лилось долгожданное тепло, деревья красовались первозданно чистой, глянцевитой листвой, воздух был легкий и даже, кажется, какой-то пушистый. В нашем доме в первые дни моего приезда также царят лад и склад: говорим про детей и внуков, про погоду и даже политику, конечно, со своим, чисто женским уклоном: цены растут, качество товаров жуткое, зато у тех, кто наверху, все в шоколаде...

Но вот в какой-то момент в доме — чувствую — возникает напряжение. Я пока еще не понимаю его причины, но делаюсь настороженной к каждому произнесенному моими родственницами слову. Вот матушка, едва встав с постели, берется за панамку:

— К Нинке Захватовой пойду. У нее картошка должна быть.

— Какая картошка?

— Посадочная. Надо картошку сажать.

Нинка Захватова — помню — живет на дальней улице. Осторожно интересуюсь:

— А ты дойдешь?

— Дойду. Я потихоньку.

Затея мне не нравится. На улице даже утром уже довольно жарко, дороги в селе никак не назовешь ровными, но главное все-таки — неблизко Нинка живет.

— Давай-ка лучше я схожу.

В ответ непреклонное:

— Нет, я пойду сама.

О, как я опять понимаю свою сестру...

— А как упадешь? — пытаюсь отговорить. — Это ведь твое и наше счастье, что ты до сих пор на своих ногах. Давай-ка лучше завтракать.

Пеку оладьи, пьем чай. Может, теперь никто никуда не пойдет? Увы...

— Ну, теперь пойду.

— А может, картошка и у вас есть? — догадываюсь я, наконец, задать естественный в возникшей ситуации вопрос.

Матушка молчит. Потом:

— Не знаю.

— Так давай Тасю спросим.

Я у них сейчас переводчик с молчания на голос.

— Тась, у вас посадочная картошка есть?

— Надо в подполе поглядеть.

— Ну так посмотри.

Сестра спускается в погреб. Оказывается, картошки там больше, чем надо.

— Ну, девушки... Вам надо хоть изредка объясняться. А то к Нинке она собралась...

Откуда мне было знать, что возмутителем так непросто сохраненных мира и спокойствия скоро окажусь я сама? А так и случилось. Вслед за обнаружением посадочного материала последовал приказ: вытаскивать картошку из подпола. Прикидываю: у Таси большой позвончик — ей ведра поднимать нельзя. Мне нельзя нагибаться — шалят сосуды головы, сразу крыша поедет. Но... если главнокомандующий приказал? Приказы верховного не обсуждаются...

И вот сестра в подполе набирает в ведра картошку, я, встав на колени, тянусь за ведром, наполовину утонув в пространстве подпола. Нагибаюсь раз, нагибаюсь два... На счете семь — чувствую — головушка-то того... Измеряю давление: 190 на 100. Приехали! И я не могу удержаться от гневного:

— Вам это надо — картошку сажать? Сколько вы ее за зиму съедите — пять ведер? И что — их нельзя купить?

Пью таблетки. Ложусь лицом к стенке...

Вечером с сестрой дружно решаем: картошку сажать не будем. Это же надо — старых рам ей жалко, а нас — нет. Она не понимает, что мы тоже давно не молоденькие, что у нас куча болезней. А по ней: умри, но картошку посади. И все это от жадности, от чего же еще?

И домой я поехала в полной уверенности, что мы с сестрой правы.

...До-мой, до-мой, до-мой, — выстукивали вагонные колеса.

Долго, очень долго «до-мой» означало «в родительский дом». Но когда появились муж, а потом детки, домом стало место, в котором мы жили все вместе. Теперь детки выросли, разлетелись по свету, но сердце уже привыкло к тому, что дом там, где если не дети, то муж. Когда-то давно я спросила бабушку: «А кто дороже всех на свете?» Моя мудрая бабушка ответила так: «Пока мы маленькие, дороже всех родители. Потом — свои детки. А когда они отраиваться начнут — самым главным становится муж». «Отраиваться — это как?» «Ну, когда семья — живем, как пчелы, своим роем. А потом дети вырастают и заводят свои рои...»

Вот и у меня появился свой рой.

А у Таси роя не получилось. Она так и живет в родительском. С матушкой. Потому что папки давно уже нет... Да если бы он был — разве возникла бы проблема из-за картошки?

Слово «картошка» вызвало еще какую-то неявную, никак не желающую становиться очевидной, ассоциацию. И она опять была связана с мамой. Однажды она рассказывала... что-то такое тоже про картошку... Вот: она вспоминала военное время. Точнее — известие об окончании войны. В деревню, где она жила со своим «роем», примчался мальчишка на лошади. «Война кончилась! Войне конец!» — вне себя от радости кричал мальчишка. Мамин «рой» в полном составе: родители, дочери (все сыновья были на войне, и на двух уже были получены похоронки) стояли, точнее — работали на огороде, сажали как раз картошку. Сколько рассказов доводилось читать и слышать о Дне Победы... И каждый раз получалось,

что люди шалели от долгожданной вести, бросали все дела, смеялись и плакали, накрывали столы, праздновали Великую Победу...

В первый раз, от мамы, я услышала нечто другое: «Конечно, нас сначала тоже как кипятком обдало. Тятя разогнул спину, воткнул лопату в землю. Мама так просто обмерла: победа пришла, а где ее дорогие сыночки?! Мы, девки, тоже стоим немые и обомлевшие... В чувство всех привел тятя: глянул на нас сурово, да и взял опять в руки лопату. А мы — вслед за ним. Понимали: чего посадим, чего уберем — то и есть будем. Никто ничего нам не припасет — вся страна после войны голодная будет...»

До-мой, до-мой, до-мой... Хорошо бы уснуть, а проснуться уже на своей станции. Да разве уснешь после таких воспоминаний?..

А дома, как всегда, навалились дела, тот же огород (но когда мужчины в доме — все проблемы решаются легко и в положенный срок), звонки от детей, званые и нечаянные гости — словом, ночные размышления в поезде стали забываться, размываться и прикрываться обычным оправданием: да, была война; ну так что же — так и продолжать жить в военном режиме? Слава Богу, настали другие времена. Можно уже позволить себе и то, и это. Разве не за это и воевали, в конце-то концов?..

Но вот в один из вечеров опять раздается телефонный звонок:

— Звони матушке, вразуми... Пошла к соседке с вопросом: кому можно продать старые рамы? Соседка не знает, куда свои девать, а она...

Звоню:

— Мам, ну что же ты успокоиться не можешь? Мы же вроде все обсудили. Возьми хоть нас и наших соседей: тоже поменяли рамы, а старые лежат без применения. Так же, как у вашей соседки. И у всех других.

— Да как же так можно! Ведь они денег стоили. Материал, работа... Они бы еще послужить могли!

— Могли. Но новые лучше. Не надо клеивать на зиму, выставлять весной.

— Вам бы только ничего не делать. Обленились. Вон она — кур не хочет держать. Меня не станет — всех переведет. Мне, говорит, чистый двор нужен, чтобы цветочки кругом росли. Помешались на красоте...

Посягательство на красоту кажется мне избыточным; я произношу какие-то правильные слова, стараясь, чтобы они не были обидными, но и одновременно — тут нас сестрой не переубедить — защищающими нашу твердую в отношении красоты позицию. Да и «обленились» неприятно царапнуло: ешкин кот, неужели работать — это только пластаться на огороде, ходить за скотиной и целыми днями стоять у плиты? А я еще хочу почитать книжку (а иногда и сама чего-нибудь пописать), посмотреть хорошую передачу по телеку (среди обилия мусора и дряни там иногда все-таки проскальзывает что-то хорошее), да мало ли чего еще хочется. Жизнь больше работы.

Спать ложусь сердитая и на матушку, и на весь белый свет.

А ночью... В ночной тишине, в сознании, подсознании ли, в самой ли душе — опять начинает скрестись, как малый котенок в дверь, сомнение. И причиной тому нехстати (или все-таки кстати?) припомнившийся матушкин рассказ, очередной из бесчисленных рассказов про войну:

— У тяти рукавица была — с лопату величиной, как и его рука. Этой рукавицей нас пугали, когда мы не слушались. Не помню уж, часто ли она пускалась в ход, но один раз он ее ко мне приложил. Мама послала

меня отнести долг — десяток яичек. Завязала их в узелок, я и пошла. А соседский мальчишка взял да ударил по узелку. Яйца разбились. Не соседа — меня тятя варешкой угостил: зачем не сберегла, донести не сумела?

— И это из-за десятка яиц? Но ведь дедушка, кажется, не был жадным.

— А причем тут жадность? Яйца в войну на вес золота были. Ничего ведь не ели досыта: хлеб с лебедой, и того не вдоволь, похлебка пустая, картошка — и та к весне кончалась. Ходили в поле мерзлую из-под снега собирать. А тут курочка вдруг яичко снесет... Для ребятишек это было такое лакомство, что и сказать нельзя. А польза для здоровья какая.

Опять эта война... сколько можно?! Хотя... только ли в войне тут дело? Может, дело-то еще в том, что мы действительно обленились, стараясь купить в магазине готовую еду и еще больше стараясь не думать о ее качестве? А качество это такое, что не отсюда ли многие наши болезни и недомогания?

Ох, матушка, матушка, не даешь ты мне спокойно уснуть... и велишь что-то еще вспомнить...

Нет, не велишь — это я сама уже вспомнить хочу. Точнее — себе напомнить, потому что забыть, сколько ни пыталась, не получается.

В тот раз я приехала в родительский дом осенью, причем поздней. Все уже было убрано и на полях, и в нашем огороде. Пожухла трава, почта осыпались листья с деревьев. С самого утра небо было хмурое, мрачное. Сестра уехала в город, а ты пошла на улицу — кормить своих ненаглядных курочек. Давно уже нет в хозяйстве коровы, поросенка (не стало папки — и не под силу стало их держать), но с курочками расставаться ты никак не хотела. Я пеку оладьи и удивляюсь: что-то долго тебя нет со двора.

Но вот открывается дверь. Ты заходишь и протягиваешь ко мне ладонь. А на ладони — пять синих слив:

— Вот, последенькие, видать.

Я стою в недоумении: да что же это такое? Вот пойду в магазин, куплю и яблоч, и груш. Что эти жалкие пять слив?

Так я подумала тогда. А сейчас, этой бессонной ночью, меня вдруг пронзает: да ведь эти синенькие сливы — как те военные яички. Ничего уже нет в огороде, а матушка нашла, чем угостить дочку.

Сумеет ли мы так же, если — не приведи Господи — вдруг придется?..

## КОГДА Б ИМЕЛ ЗЛАТЫЕ ГОРЫ

Когда в стране начался кавардак, и те, кто сверху, взялись делить ее по своим карманам, а те, кто снизу, лихорадочно стали соображать, как выжить на те крохи, что им оставили верхние (а кому и ничего не оставили), Михеич взял гармонию и пошел на станцию. На станции он всю жизнь проработал осматрщиком вагонов. Промасленная тужурка и штаны были его повседневной одеждой — ну и что? За свою работу он получал столько, что при тех-то, прежних, ценах хватало и на поесть, и на выпить (не каждый, не каждый день — меру он знает), и на наряды подрастающей дочке. А теперь...

— Эксель-моксель, — сказал он утром жене своей Дусе, — на старости лет артистом быть вынуждают! Эх, на хрена мне эта запоздалая карьер-

ера? Я ведь честно отпахал свой трудовой стаж — дайте мне нормальную пенсию, и я никого собой не потревожу!

Но ни нормальную, ни какую другую пенсию не давали уже третий месяц. Михеич не ясновидящий, он, как и все жители станции, ничего еще не понимал про дележ сверху и по привычке рассудил так: державе опять трудно и надо потуже затянуть поясок. Но ведь и жрать-то тоже надо! На тяжелую работу он уже не годен, а вот с гармошкой можно попробовать.

Дуся пыталась его остановить:

— Куда ты, леший? Землицы лучше побольше прихватим.

Жили они на окраине поселка, прикопали бы к огороду сотку-другую — никто и слова бы не сказал. Но спина... Да и Дуся — она храбрится, а сама уже и капли сердечные завела, и давление мерить к соседке бегаёт. Нет, лучше с гармошкой.

Пришел на станцию. Раньше ему на путях каждый вагончик близкой родней был, каждого, как доктор, молоточком простукивал, а теперь, как дальний родственник, остановился от прибывшего пассажирского в отдалении, ближе к хвосту. Остановился, приосанился, да и растянул меха своей выдавшей виды трехрядки. Высыпавший на перрон народ удивленно останавливался, глазел, слушал. Не у многих появлялось желание бросить монету в брошенный на землю картуз, но кое-кто все же лез в карман, доставал и бросал. Одна дамочка в цветастых штанах (Дуся такие сроду бы не надела) сопровождала подаяние словами:

— Прямо как на Арбате.

— Теперь вся страна — Арбат, — отозвался остановившийся рядом коренастый мужчина.

Заработанного («выдумал — подаяние») хватило на чекушку и триста граммов колбасы. Вечером Дуся поставила на стол малосольных огурчиков с картошкой. Михеич наполнил рюмашки:

— Ну, Дусь, с почином!

Супруга метнула на него суровый взгляд:

— И не стыдно было?

— А чего стесняться, Дусь? Я что — в чужой карман залез? Я пою, а ты хочешь — плати, хочешь — так слушай.

— Чего пел-то?

— А твою любимую — про золотые горы... Эх, Дуся ты моя, Дульсинея!

— Ну, понесло! Нечего меня бусурманским именем называть.

— Оно не бусурманское, оно, говорят знающие люди, из страны Испании идет.

— Откуда б ни шло, да мы-то с тобой — Расея.

Так они беседовали, а про себя Михеич между тем думал: вот чудно! В песне-то про что поется? Все отдал бы за ласки взоры! И золотые горы, и даже реки, полные вина. А в жизни? Его Дусю ничем не купишь, ничем не смягчишь: суровость — черта натуры. Она смолоду такова: в первую брачную ночь, когда он поспенулся к ней, так двинула его локтем, что он решил возобновить попытку только под утро. На этот раз она удалась, но опаска в нем все же осталась. Так и живет целую жизнь — с опаской. Не сказать, что боится — еще чего, бабы бояться, — но опаска все же есть. А казалось бы, что стоит смягчить себя, для обоих было бы лучше.

Нет, от Дуси этого не дождешься! Вон сидит — передник давно не стирал, платок набок, глаз, как всегда, неприветливый... За что их отдавать-то, золотые горы? Тем более — реки, полные вина?.. Не за что!

— Садись завтракать.

Не приглашение прямо, а приказ. Ну, такому приказу и подчиниться не грех. На завтрак у Дуси чаще всего блины. А он разве против? Хороший блин да со сметанкой — что может быть лучше?

Вообще, конечно, Дуся стала сдавать. Раньше и работа, и дочь, и домашних дел, как всегда, невпроворот, но она тихой сапой везде успевала. А теперь... взять хотя бы этот давно нестиранный передник. Да что передник — хуже то, что без капель сердечных уже и жить не может. Он как-то заикнулся: «Дусь, а если в больницу?» — «Еще чего — целый день барыней лежать».

Вот такая она, Дуся — Дульсиня. Однако в чем-то ее характер шел семье и на пользу. Дочка — прямой результат. Они-то, послевоенные дети, росли у родителей, как трава в поле — сами по себе: те целый день на работе, а для ребятишек — постный суп на плите. Одежду носили от старших к младшим. А вот их Людочка ела уже котлетки, примеряла разные наряды, меняла стрижки-прически... Дуся своим суровым взглядом окорачивала дочку от излишеств. «Какая-такая юбка мини? Не срамись сама, и нас не срами...»

Людочка окончила школу с медалью, поступила в институт (успела — выучилась до всех этих перестроек бесплатно), и работать ее взяли в денежное место — банк. Вот с личной жизнью ей не повезло — два года промаялась с мужем, да и разошлась. Зато остался сын, их с Дусей внук — Стасик.

Стасик-колбасик...

— Чего, опять выступать пойдешь?

— Пойду, Дусь. Какая-никакая копейка.

— Ага, на чекушку.

— Нет, Дусь, нынче чекушки не будет. Начнем копить. Как заделаемся буржуями.

Супруга смерила его своим привычно тяжелым взглядом.

Если бы знать, что — последним...

Это уже соседка рассказывала:

— Стучу, стучу к вам — никто не откликается. Ну, думаю, на огороде. И точно — на огороде. Только не полет, а лежит...

На похороны приехала дочь. Все сделали, слава Богу, честь по чести: отпевание, венок на могилку, поминки. Вот только Михеич никак не мог проснуться. Ну, словно во сне все было, словно и не с ним. И не с Дусей.

Проснулся он, только когда они остались с дочерью одни.

— Люд, ты веришь?..

— А куда деваться, пап?

— Ты... поживешь?

— Не могу, пап. Работа.

— А почему Стасик не приехал?

Люда ответила не сразу.

— Я положила его в больницу, пап. Сам знаешь, какую...

Вот он-то, Стасик, Дусю и подкосил.

Пока был маленький, Люда привозила его на лето. Жили с внуком, как умели: блины на столе — ешь блины, щи — щи хлебай; они в огород — и он с ними; они вечером на речку, сполоснуться — и внук с превеликой радостью. Подрос — и они слышали от дочки: «То у вас грядки поливай,

то яблоки собирай». Пора ему иметь интересный досуг, возвращаться среди ребят своего круга».

Так они в первый раз услышали про этот «круг». Михеич, да и Дуся тоже, никогда не думали, что «круг» станет дочери дороже всего родного: дома, речки, небушка над головой. Но вот случилось...

Они с Дусей рассудили так: им этого уже не понять. Пусть живут, как знают. А им, старым опенкам, сидеть возле своего пня...

Окончив школу, Стасик поступил в институт. Они с Дусей радовались и... корили себя: вон как все хорошо, а они обижались, боялись почему-то этого самого «круга». Ан нет — все правильно Люда сделала, все Стасику на пользу пошло.

После вступительных экзаменов Стасик поехал с друзьями отдыхать на море; потом начался учебный год. «Когда и увидим теперь внука?» — печалились они с Дусей. Однако с началом лета дочь позвонила и сказала, как раньше: привезу, встречайте. Они и встретили, как бывало. Поначалу и внук был как бы прежним. Потом стали замечать, что Стасик какой-то странный: то ли мается чем-то, то ли тоскует... может, по своему кругу? Поделались с Людой. Она: «Займите его чем-нибудь. Поливать заставляйте. Другую какую работу найдите».

«То поливать — плохо, то вдруг заставляйте поливать» — удивились они с Дусей. Но кое-как лето избыли. А зимой услышали про наркотики. Дуся долго выпрашивала его, чем они опасны и как от них мальчика отвлечь. Заволновалась, заметалась: поеду к ним в город! Он пробовал остановить: ты-то чем поможешь? Но Дуся, если чего надумала — ее не остановить. Взял билет, посадил на поезд.

Вернулась она, как побитая собака. Целый день ходила со скорбно сомкнутыми губами. И только к вечеру начала говорить, блуждая глазами по стенам:

— Исхудал весь. Под глазами круги. Руки в синяках... «Стасик, — говорю, — зачем тебе это? Живи, как люди». Как кинется на меня: «Какие люди? Как вы, что ли? Чего вы вообще в жизни понимаете? Поезжайте на свою станцию, и живите там свою серую жизнь». — «У нас серая, а у тебя какая?» — «Говорю, вам этого не понять!»

— А Людмила чего?

— Он и ее так же слушает. Совсем отбился. Ото всех. Только этот... свой круг на уме.

Дуся навела, наконец, на него суровый взгляд.

— Дед, чего же мы с тобой не понимаем? Чего?!

Он искал слова, чтобы ответить, и никак их не находил. Вернее, ответ он знал, но его знала и Дуся, а спрашивала только так, от отчаяния, но кто бы их стал слушать, кому они со своими ответами нужны?..

После той поездки и появились в посудном шкафчике сердечные капли, тогда и стала она бегать к соседке мерить давление... И чего он, старый дурак, не настоял, чтобы жена легла в больницу? Нет, еще и рад был, что останется дома — с блинами, щами и жареной молодой картошкой. И, главное, что будет постоянно при нем сама.

На внука хотел вину свалить... Какой внук — сам, сам во всем виноват!

Эх, Дуся-Дульсинея!.. Куда ты ушла? Зачем оставила меня одного? Все, все отдал бы сейчас — и золотые горы, и полные вина реки. И даже ласки взоров не надо взамен: пусть будут суровые — лишь бы твои, Дуся...



## СКАЗКА ДЛЯ ВЗРОСЛОЙ ВНУЧКИ

*Как быть с вещами,  
которых мы не помним?..*

Вера Инбер

Ко мне едет внучка! Мы не виделись с ней давно — почти два года. Она в том возрасте (восемнадцать!), когда... когда не знаешь, что можно ей подарить. Косметику? Но что бабушка понимает в нынешней косметике, если она и в свои молодые годы не шибко в ней разбиралась? Что-нибудь из одежды? Но тут надо знать и понимать еще больше. Так что же?..

А что, если я подарю ей... сказку? Смешно? Не согласна! Дело в том, что в этой сказке не будет не только вымысла или фантазии, но даже ни одного выдуманного словечка. Все, что в повествовании будет происходить, было на самом деле. Все, что будет говориться, действительно произошло моей маленькой внучкой. А я все это заносила в тетрадь — по своей привычке записывать все, что тронуло душу. Тогда почему же — сказка?

А вот потому как раз, что внучка выросла и, можно не сомневаться, благополучно забыла все, что было в самом раннем, розовом детстве. Я тоже многое забыла, но собственным записям не верить не могу. А вот узнает ли, поверит ли в свои слова та, которая когда-то их произносила? Ведь она стала взрослой. А взрослые — они же смотрят на мир совсем другими глазами. Говорят другие слова. У них и сердце, кажется, другое...

Ну, так и пусть будет все, что мне открыла тетрадка, просто сказкой.

Итак, жила-была девочка. Звали ее Лизой. Родители Лизы уехали в большой город устраивать свою трудовую жизнь, и навещали дочку нечасто, в основном в новогодние каникулы или летом.

Лето проходит быстро, как сон. И вот уже опять зажелтела трава, западали с деревьев листья; мы идем с трехлетней Лизой по тропинке от Селиванихи — озера, на которое она ходила летом с мамой. Шла-шла внучка, и вдруг остановилась. Постояла, подумала... И — как заревет! И сквозь рев:

— Мама с папой никогда за мной не придут!

Что в таких случаях делают бабушки? Начинают ребенка утешать. Вот и я принимаюсь говорить: про Новый год, который не заметишь, как придет, про то, что ни разу еще не было так, чтобы они, родители, оставляли ее без подарка. Вот и опять они придут, и привезут... знаешь что? Платье! Да не какое-нибудь простое, а — как у Золушки!

Всхлипы стали раздаваться реже.

— Платье? Как у Золушки?

— Конечно!

— И туфельки как у Золушки? Серебряные?

— Конечно!

Всхлипы смолкают совсем. И вот я слышу совсем тихое:

— И я в них побегу и одну потерю?

О-о-о!.. Теперь плачет бабушка. Про себя. Невидимыми миру и внучке слезами. Плачет и ругает себя: вот она тоже, было время, оставляла своих детей у бабушки, своей мамы, потому что тоже устраивала трудо-

вую жизнь. Господи, если бы я тогда знала... если бы представляла... если бы только могла вообразить...

Я знала одно: мои родители любят своих внуков, моих детей, до самозабвения, — значит, им не будет у них плохо. Мы с бабушкой тоже любим свою внучку до самозабвения... Почему же она так горько плачет?! И эти невозможные (как дрогнуло от них сердце...) слова: «И я в них побегу и одну потеряю?»

И тут понимаю, наконец, отчего Лиза стала успокаиваться, отчего ей стало легче: она спряталась в сказку. От тоски по маме и папе, от чувства одиночества (при всей нашей с бабушкой любви к ней) — она спряталась в сказку.

Как хорошо, что сказка эта к тому времени не раз была прочитана...

И мы стали жить дальше. Завтраки, обеды, ужины. Прогулки, игры... И еще танцы! Тогда, в Лизинем раннем детстве, родители решили (а мы с ними согласились), что их дочь непременно станет балериной. Наша внучка, как и положено будущей балерине, была тоненькой и хрупкой, порхала по комнатам в придуманных ею самой танцах, и заставить ее покушать было большой проблемой. Нас опять выручала сказка.

— Ты ешь, а я пока расскажу...

Все книжные сказки к тому времени были прочитаны, и, как внучка изобретала танцы, так бабушка на ходу изобретала сказки. Однако чем ближе внучка подбиралась к четырехлетнему, а потом и пятилетнему возрасту, тем чаще она останавливала повествование каким-нибудь вопросом. Например:

— Бабушка, расскажи, как ты стала старенькой?

От некоторых внучкиных вопросов бабушка, находчивая в сказках, впадала в ступор. Вот и сейчас... А она-то думала, что достаточно натереть лицо огурцом, купить краску для волос (а если точнее — для окрашивания седины...)

— Но... разве я такая уж старенькая?

Что-то такое моя чуткая внучка в моем голосе уловила. Последовало раздумчивое:

— Ну-у-у...

А потом решительное:

— Знаешь, сколько ты будешь жить? Пока я вырасту, стану как мама, рожу ребеночка.

И пока я — не без внутренней дрожи — обдумываю эту далекую перспективу, она еще решительнее заканчивает:

— Тебя Бог сохранит!

И — немного погодя, опять раздумчиво добавляет:

— Он всех так хранит.

Господи... Да откуда ей знать, что «Он всех так хранит»? То есть ждет, пока мы вырастим деток,ждемся внуков, а то и правнуков, а потом... нет, не будем пока о «потом»...

Не будем?!

Внучка моя, по-прежнему задумчиво глядя в окно, ведет свою мысль дальше:

— Бабушка, сейчас лето. А потом будет зима. Лето-зима, лето-зима...

Мы умрем, а все так и будет.

Она не сказала «ты». Она сказала — «мы». Сколько же на самом деле лет моей внучке?!

Да маленькая она, маленькая еще! Вон как тоскует по маме: чистит утром зубы — «меня так мама учила»; возьмет в зубки травинку — «моя мама так делала»; увидит по телевизору красивую женщину — «на мою маму похожа». Моя, мою — ей доставляет несказанное удовольствие подчеркивать их связь. Скорее, даже больше: это доставляет ей тайную радость, дает силенки жить вдали от мамы. А поскольку любовь, переполняющая ее сердечко, требует выхода, то иногда она переливается через край. И если рядом сейчас я...

— Бабушка, ты лучшая бабушка на свете!

— Лиза, я дура... я умудрилась тебя простудить.

Я умудрилась также допустить, чтобы ноготок на одном из ее пальчиков на ножке врос в этот самый пальчик. Пришлось беспокоить дядю Володю — соседа и хирурга, помочь нам в нашей трудной ситуации. И вот Лиза лежит на операционном столе, ей делают укольчик, и она засыпает прямо на моей руке. Дядя Володя по-соседски и ввиду маленького возраста пациентки не выпроваживает бабушку вон, и пока он делает свое дело, я, изнемогая от жалости и не зная, как еще можно внучке помочь, стою над ней и шепчу в ушко: я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя...

Когда все закончилось, анестезиолог сказал: «Зря волновались, девочка ничего не будет помнить». Ой ли... Через два часа после операции внучка сказала: «Бабушка, я попала в клетку. И ты была там». Немного спустя: «И дедушка». И еще через минуту: «Какая же я плакса»...

В моей «сказочной» тетрадке записано: «Прошло два дня. Лиза уже бегаёт по дому и играет, как всегда, как обычно, а я все еще отхожу от этой «маленькой и несерьезной», по словам соседа-хирурга, операции».

Зато какую награду я получаю в качестве компенсации! Когда внучка в очередной раз завела свое «бабушка, ты лучшая бабушка...», а я опять взялась возражать ей, она решительно меня остановила:

— Если хочешь знать, это из-за тебя я захотела прибежать на этот свет!

Ну, Лизавета... это уж слишком... Это не так, конечно, но я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю...

Зима-лето, зима-лето...

Да, опять лето. Мы пришли с прогулки с разбитыми коленями, и моя внучка горько плачет:

— И зачем я живу на свете? Чтобы бегать, падать и разбивать коленки?

Ранки промыты, замазаны зеленкой, мы сидим за столом и собираемся обедать. Наша беседа на этот раз вырывает на философские высоты. Очищая молодую чесночину и выщелучивая из нее маленькие чесночинки — будущие дольки, внучка произносит:

— Это у мамы-чесночины детки родились. А это (показывая на ствол) папа. Потом мама и папа умрут, а детки сами жить будут.

Я уже не пугаюсь разговоров на тему «жизнь-смерть». Я только очень хочу понять, как она сейчас, в свои неполные пять лет, понимает устройство мира. Вчера мы ездили на Хопер. Лежим на песочке, нежимся под солнышком. Кажется — до серьезных ли тут бесед?

— Баб, а как был сделан самый первый человек? Из земли, что ли?

Вопрос серьезный, и всерьез приходится отвечать. Говорю ей о том, какие разные точки зрения существуют на этот счет, и что ее предполо-

женie, несмотря на то, что она маленькая («Я уже большая! — возражает внучка»), почти совпадает, как это ни странно, с... Наверное, я затянула свой ответ, потому что внучка перебивает меня новым вопросом:

— Баб, а что там, где космос кончается?

Мне опять напрягаться над серьезным ответом? А вода, а песочек, а солнце... И вообще, я слабо представляю себе бесконечность мира. И я честно говорю:

— Не знаю.

И в ответ слышу:

— А я думаю, там — Бог.

И все-таки не тогда, не в ее неполных пять лет, я услышала от нее самую удивившую меня вещь. Сказочная тетрадка свидетельствует: 29 мая 2002 года мы гуляли с Лизой по той же тропке на Селиваниху, только она, тропка, была не осенняя, а весенняя. Внучка то идет, то бежит вприпрыжку (берегитесь, коленки!), смотрит по сторонам, запрокидывает лицо в ярко-синее майское небо. И вот:

— Бабушка, хочу на небо!

Ох уж эти бабушки... В каждом вопросе им чудится скрытый смысл, каждое желание жизнь научила их воспринимать с опаской. На небо она захотела... в каком это смысле? Стараюсь ответом все-таки привязать ее к земле:

— Вот вырастешь большая, сядешь в самолетик...

— Нет, — решительно, как всегда, отвергает мое предположение внучка. И продолжает:

— Есть лестница, пойдешь по ее ступенькам — раз, два, раз, два — и придешь на небо.

Немного помолчала и — с еще большей убежденностью:

— Есть такая лестница.

Откуда?! Откуда ей известно про лестницу на Небо? И про ее ступеньки? Она что — читала Библию, она что — знакома с трудами Иоанна Лествичника? Нет, конечно. И она не знает, не может пока знать, сколько всего в себе надо повернуть вспять, изменить и преодолеть, чтобы стало получаться вот это: с одной ступеньки на другую, с одной на другую, и все выше, выше...

Или знает? Не умом, а каким-то внутренним, именно детским чутьем, наитием, потому что взрослому это уже недоступно, взрослые это чутье, это наитие во многом уже утратили, полагаясь больше на разум. И только некоторые из них, избранные, умеющие быть, как дети, имеют смелость сказать: «Истину ищут не головой...» А услужливая память подсказывает еще и такие строки: «И сердце разума блесну не хочет чествовать святыней...»

Значит — сердце? Оно путеводитель по тем, ведущим на Небо, ступеням?

...Однажды мне пришлось встать раным-рано. Внучки моей тогда еще и на свете не было. А было лето, солнышко выпрастывалось из туманной утренней дымки. Дело, которое подняло меня, заставило отправиться в путь. Я шла, впитывая в себя и свежий, еще ничем и никем не замутненный, воздух, и медовый солнечный свет, и эту едва уловимую небесную дымку, и было так хорошо, так покойно и радостно, что в голове сама собой вдруг родилась строчка:

*Раннее утро. Опять — сотворение мира...*

Сотворение мира, стало понятно мне, происходит каждый Божий день.

Теперь, когда у меня есть внучка, я думаю: наверное, сотворение мира происходит не только каждое утро, но и с рождением каждого нового человека на земле. Иначе — откуда он ВСЕ об этом мире знает?..

Ты скоро приедешь ко мне, моя теперь уже действительно большая внучка. Сердце мое трепещет от предвкушения этой встречи.

Но что же мы будем делать с тобой с вещами, о которых успели забыть?..

